

Зеркало души ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ



Все комплексы уходят, когда в роли есть что-то, что поднимает тебя над всеми привходящими обстоятельствами, волнует, требует выхода.

Когда я ответил Рязанову, что не понимаю, отчего он не снимает меня в своих фильмах, тут же был приглашен в «Служебный роман».

«Проще, легче, выше, веселее», — сказал Станиславский. Фрейдлих, Мягков, Ахеджакова, Щербаков, Немоляева, может быть, и я воплощали этот лозунг на съемках.

Бузыкин — одна из самых дорогих мне ролей.



Неужели это я?! Господи...

Олег Басилашвили

Неужели это я?! Господи...

Серия «Зеркало памяти»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2932775
Неужели это я?! Господи...: Эксмо; М.; 2023
ISBN 978-5-17-152168-4

Аннотация

Олег Басилашвили – народный артист СССР, известный театральный и киноактер. Он работал с такими именитыми режиссерами, как Эльдар Рязанов, Карен Шахназаров, Георгий Данелия. Его партнерами были Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова, Наталья Гундарева, Евгений Миронов, Людмила Гурченко, Андрей Мягков и многие другие.

Несколько поколений зрителей знают актера по блистательным ролям в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Курьер», «Небеса обетованные»...

Список сыгранных Олегом Басилашвили ролей впечатляет: были среди его героев врачи, директора, рабочие, профессора, генералы, чиновники, инженеры, встречались откровенные мерзавцы и утонченно интеллигентные люди. Актер умеет воплощать любой образ, примерять на себя любую маску, а в жизни остается спокойным, ласковым, очень любящим человеком. В его судьбе совершенно удивительным образом

перемешались: грузинская родословная, старомосковское происхождение, мхатовская школа и академическая твердыня Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Бесконечный марафон встреч, дебатов, выступлений стал основой для истории, рассказанной на страницах этой книги.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

К читателям	6
Вместо предисловия	7
Первые впечатления	17
«Синяя птица»	19
22 июня 1941 года	22
Первая бомбежка	24
Война	26
Эвакуация	34
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Олег Валерианович Басилашвили

Неужели это я?! Господи...

*Посвящаю моим любимым внукам Тимофею и
Маринике*

© О.В. Басилашвили, 2023

© ФГУП МИА «Россия сегодня», 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

К читателям

Уважаемые читатели! У вас в руках второе издание моей книги «Неужели это я?! Господи...» Впервые она увидела свет одиннадцать лет тому назад и благодаря издательству «Эксмо» имела дополнительные тиражи, что, не скрою, весьма лестно мне как автору.

Почему я писал ее? Мне хотелось посмотреть со стороны на себя, на время, в котором я жил и менялся. Посмотреть непредвзято, без розовых очков. Дать трезвую, честную оценку самому себе. И главное, вспомнить людей, встречи с которыми повлияли на меня, на выбор дороги, по которой, спотыкаясь, но шел.

Многое изменилось. В какую сторону – судить вам. Может быть, книга моя подскажет ответ. Сейчас кое-что прояснилось, стало очевиднее.

Некоторых, о ком писал, – нет уже на этом свете. Царствие им Небесное!

Не редактирую книгу заново – пусть все будет, как в первом издании.

Надеюсь, что вы, мои читатели, прочтя ее, задумаетесь и о своей жизни...

Искренне ваш, О.В. Базилашвили

Вместо предисловия

*Иду я по большой дороге,
А навстречу везут навоз.
О! Когда же эти дроги
Заменит электровоз...*

Да, иду я по Загородному проспекту Санкт-Петербурга, иду к дому, иду из магазина. В одной руке пакет с картошкой, капустой, в другой – с хлебом, сыром.

Бормочу автоматически, бормочу вслух эти строки поэта двадцатых годов, они сами забормотались, видимо, под влиянием окружающей безрадостной картины...

Серая, в пятнах, простыня неба, грязный асфальт, обледеные плитки тротуара, ледяной черный ветер порывами со всех сторон...

А вот витрина булочной. В ней забавная кукла булочника – лежит, спит себе, и живот от дыхания вверх-вниз, вверх-вниз... А это кто такой там отражается в стекле? С двумя пакетами, согбенный и безрадостный?

Ба! Да это ты, Олевук! (Так Александр Белинский, любимый мой режиссер, ласково именует меня, ну а поскольку у него нелады с произношением некоторых букв, то и получается не «Олежек», а «Олевук».)

Да, это я. Это я, Олевыйк! Это я, Фафенька (то есть «Сашенька» – это я отвечаю воображаемому Сашеньке Белинскому).

Это я – вон там, в витрине, сутулый старик с пакетами, мучимый артритом, колитом, тендовагинитом, мозолями и ненужными мыслями. Давно за семьдесят¹ – это вам не бык на палочке! Всё! Ты уже не с ярмарки едешь, ты уже приехал, давно приехал, и яблони, с которых белый дым, давно вырублены, и пни сгнили.

Ну что, старик? А если нижнюю губу вперед, а верхнюю заглотить – вот и полная картина: шамкающий безумец в витрине бормочет: «О! О! Когда вз эти дроги, дгоги... эвэк-твовоз...»

Стоп! Ты уже вслух!

Стоп! Маразм! Выпрямись! Плечи назад! Живот втянуть! И – быстро, прямо, энергично... легко! И – по-о-шел! Па-а-шол!

Иду! Боже, а женщины-то, женщины! Ни одной старухи! Молодые, жаждущие! Без детей, с детьми, с внуками! Все молодые, идут быстро, обгоняя меня...

Позади шепот:

– Он! Он! Я узнала!

– Да не-ет...

– На спор! Он!

Узнали. Узнали, черт бы их побрал!

¹ Книга была написана в 2011 году. – *Примеч. ред.*

Ну да, я ведь вчера играл «Калифорнийскую сюиту»! А позавчера – «Копенгаген»! И ведь неплохо играл, черт возьми! А то, может быть, и по телевизору... Спину прямо держать! И – главное, главное – туман в глаза, внутреннюю углубленность, иллюстрирующую богатство души и – простоту, простоту – да, да, это тоже важно, несмотря ни на что, на популярность и уважение – я прост, прям, доступен...

Молодой, румяный, черноглазый, улыбается, забегая вперед, встал передо мной:

– Извините! Это – вы?!

Я – несколько усталый, но добрый взгляд:

– Да... это я... (и улыбка всепонимающая).

– Он! Я говорил! – И уже мне непосредственно: – Это ведь вы выступали в рекламе пива студенческого?

Да, вот это удар. Ниже пояса.

Был грех – снялся я в рекламе этого пива. Десять дублей. Тяжело опьянел. С тех пор не то что пить, но и видеть рекламу пива по ящику – подступает тошнота... Да и давно это было – в конце девяностых!

«Калифорнийская», «Копенгаген»! Ты еще «Дядю Ваню» и Хлестакова вспомни! Эх ты, старый тщеславный маразматик! «Копенгаген» тебе!

И опять иду сквозь питерскую грязь и мглу с тяжелыми пакетами, шаркая ножками, а меня обгоняют все – молодые, шестидесятилетние...

На память пришло, как собрались мы в Третьяковку: я с

дочками, Олей и Ксюшей, и Мишей, Ксюшиным мужем. Идем не спеша по моим любимым залам. Но чуть остановимся у какой-нибудь картины, чуть я начинаю дочкам объяснять, в чем прелесть ее, – тут же раздается: «Олег Валерьяныч! Дайте автограф!» И так раз за разом. Зверею. Не дают насладиться: мы ведь редко видимся, а тут – все вместе, да еще в моей родной Третьяковке! – и: «Дайте автограф, у вас ручка есть?» На бумажках, билетах, а то и на деньгах...

И вот стоим мы перед картиной Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но я уж картины не вижу. Чувствую позади дыхание жаждущих автографа. Гнев закипает. Оборачиваюсь: точно! Человек десять молодых людей с блокнотами и ручками наготове.

Я говорю:

– Ну вот что. Уберите ваши блокноты и ручки! Оставьте меня в покое! Я же человек, в конце концов!

А они в ответ:

– Да вы что, мужчина! Совсем уже?.. Мы за экскурсоводом записываем!

Позору было! С тех пор, делая усталые глаза, даю автографы. Всем. На деньгах, паспортах, обрывках туалетной бумаги...

Ясно, что я человек довольно гнусный.

Ну, чтобы помягче, – тяжелый. Что называется «синия жылы».

Ну, к примеру – жду, когда кто-нибудь допустит оплошность. Забудет, скажем, выключить свет в кухне. Или в туалете. И у меня наступает праздник души. Нет, не то чтоб мне становилось от этого легче, радостнее, нет, просто нарыв тяжести раздувается и лопается, и раздражение низвергается на близких, допустивших «faux pas»...

Мне иногда даже кажется, что они меня побаиваются. Но этот страх ничуть не мешает им оставлять после себя грязную посуду, забывать ключи от дома, приглашать гостей целую кучу и кормить их с утра до ночи, превращая дом в некое подобие постоянного двора с мусором по углам, хлебными корками на столе, рюмками со следами губной помады.

Правда, если взглянуть на себя со стороны, я тоже оставляю желать лучшего. Я не говорю о мелочах типа: «Где мои очки, черт бы вас всех побрал?», а очки лежат в туалете, оставленные там мной после чтения «Тропика Козерога» Генри Миллера. Или: «Где, где ключи?» – а ключи я оставил на ночь торчать снаружи в дверях.

Да, это признаки надвигающейся старости, а может быть, и вернее всего – наступающего маразма. Вот, например, не мог вспомнить, чем автомобиль приподнимают, меняя колесо: Гиппократ?! Дармштадт?! Де... ди... Пришлось остановить грузовик. «Тебе чего, дед, что случилось?» – спросил водитель грузовика. «Да ничего особенного, просто забыл, как эта штука называется». – «Домкрат, ёптмать. И всё?!»

Да, пока всё. А до маразма еще далеко. Ой как далеко. Это

я лщу себя надеждой.

И вот передо мной задача – написать Memoires. Это по-английски. Мемуары, то есть, по-нашему.

Вообще-то я твердо убежден, что сесть за мемуары надо, точно уловив момент – работать уже не можешь (не «не хочешь», это я давно, с детства не хочу), именно не можешь, но еще кое-что помнишь. То есть когда маразм еще не оккупировал полностью твою память. То есть попасть в этот тоненький зазор между бессилием и полным маразмом.

Кто угадал – тот выиграл. Молодец! Попал вовремя. В точку. В Memoires многих авторов налицо либо торопливость, свойственная деятельному работяге, либо глыбы красивой болезни Альцгеймера, заслоняющие от автора логику и суть его жизнедеятельности.

Теперь дальше. К несчастью, а может, к счастью, люблю приврать.

Например, почему-то до сих пор я убеждаю всех, что мой дед Ношреван Койхосрович в Грузии, в Горийском уезде, когда-то очень давно арестовал двух бандитов. Их клички – Камо и Коба. Коба – это Джугашвили, в дальнейшем, как многим известно, Сталин. Дед тогда служил в полиции. Арестовал он разбойников и доставил их в Тифлис. Там Кобу посадили в Метехи – замок, где была тюрьма, в камеру с политическими – так и сейчас часто делают: сажают политического и бандита в одну камеру, бандит издевается над полити-

ческим, унижает его, и несчастный политический сломлен, готов подписать любое признание, лишь бы вырваться.

А тут наоборот произошло.

«Что же ты это грабишь, генацвале, нехорошо это!» – сказал политический. «А, ненавижу всех этих богатеев, мать их пети!» – отвечал Коба.

«И правильно, правильно делаешь, что ненавидишь, и правильно, что грабишь, только грабить надо во имя революции, для народа, генацвале, для партии трудящихся. Вступай, да? В партию большевиков, будем вместе грабить для народа! Ступай-ка ты в партию, в люди, да?!»

И пошел Коба в люди.

И сделал неплохую карьеру. И получается, что это мой дед во всем этом виноват.

История со Сталиным – может быть, чья-то или моя выдумка, но она почему-то стала реальностью, что тут поделаешь.

Или футбол. Где-то конец сороковых – начало пятидесятых. Я в детской команде «Динамо». Тренировка. Я – вратарь. Мой бог – Алексей Хомич, вратарь московского «Динамо». Крепко сбитый, пружинистый, чуть сутулый, коротко стриженный, почти «под ноль». Прозванный в Англии во время послевоенного динамовского турне «тигром».

Рассказывали, что на приеме у клуба «Челси» королева будто бы пожелала услышать спич в исполнении этого футбольного гения. Он встал и произнес:

– Леди и гамильтоны!

Изумленная пауза. Занавес.

Итак, мы, юные динамовцы, заканчиваем тренировку. На поле выходят взрослые – Бесков, Карцев, Малявкин, Бобров...

Я прошу великого Боброва: «Дядя Сева, стукните мне, пожалуйста, с одиннадцати метров, только точно в девятку!»

Он, усмехнувшись, бьет. А у него удар был пушечный, неберущийся.

Ударил. Мяч со свистом пошел в верхний левый угол.

Но я, дотянувшись до него в броске, запутался в сетке ворот, куда меня внес мяч, пущенный гением футбола.

Вот это всё – вранье от начала до конца.

Да, в футбол я играл. Во дворе. И вратарем стоял, сутулясь, подражая Хомичу (сутулость моя оттуда). Но не было ни детской команды «Динамо», ни тренировки с Бобровым... Просто я всегда обожал «Динамо», был его страстным болельщиком. О бело-голубые, мои боги!

Что я знал тогда об их эмгэбэшной принадлежности, об интригах Берии против «Спартак»... Просто я был очарован бело-голубыми, их филигранной игрой, техникой, яркими индивидуальностями...

Кто болеет за «Спартак» —

Тот мудила и дурак —

это я начертал мелом на черной лестнице нашего дома на Покровке в пику Витьке Альбацу, соседу, болельщику «Спартака».

Бабушка увидела. Скандал! Позор! Заставила все это стереть. Стыдоба, в общем... Вот это – правда. Это – было.

Все вышенаписанное должно было быть только предисловием к моим *Memoires*. Но затянулось. И ясно, что к старческой лени, маразму и желанию приврать добавился еще один порок – неудержимая болтливость.

Простите. В дальнейшем буду сдерживаться. Самоограничиваться. Всё!

Итак, начали.

«Я родился в...»

Помните, у Чехова один такой же пенсионер садится за стол с твердым намерением начать писать? Первая фраза, ее начало: «Я родился в...» – и тут же сразу раздается вопль кого-то из домашних – зовут – приходится все бросать и идти на зов...

Итак: «Я родился в...»

Прислушиваюсь. Ну! Зовите! Тишина...

Да, оказывается, это очень трудно – заставить себя сесть за стол и начать.

С чего?

Как?

Да и кому интересна эта моя жизнь?

Но – «недаром стольких лет свидетелем Господь меня... (заставил? сделал? назначил?)». Да, что-то уж очень как-то самоуверенно это выходит: «Господь – меня» – ну да ладно: ведь я действительно был свидетелем очень многих событий. И – «когда-нибудь, кто-нибудь...».

Итак – свисток! Начали. То есть что это я?! Какой свисток? Звонок, конечно.

Итак – звонок! Начали! (Занавес пошел!)

Я родился в Москве 26 сентября 1934 года.

Моя мама, Ирина Сергеевна Ильинская, будучи воспитана своими отцом и матерью в спартанском духе, а к этому духу добавилось еще и пролетарско-коммунистическое мировоззрение, с которым мама вышла из школы-коммуны, где училась, пошла рожать меня в родильный дом на Покровке. В «Лепёхинку» – так называлось это учреждение. Пошла самостоятельно, одна. Мест для рожениц не было, и маму поместили на кровать для буйных – в клетку, под замком. Хотя никакого буйства мама не проявляла. Короче – вот в этой самой «Лепёхинке», в синем доме с колоннами (москвичи прозвали его «дом-комод»), принадлежавшем ранее князьям Трубецким, я и появился на свет.

Первые впечатления

Как ни странно – вижу, как на террасе общежития политехникума связи, где работал папа, в Пушкино, он тискаiami привинчивает к столу елочку: Новый год. Темно, за окнами снег, снег... И фраза «Разрешили елку» впечаталась в память... А это 1935 год – мне всего-то годик...

А вот более позднее воспоминание.

Просыпаюсь – и тут же крепко зажимаюсь. Посреди комнаты в лучах утреннего праздничного солнца стоит нечто прекрасное, сияющее никелем, брызжащее ярким светом, ослепляющее...

Сквозь крепко зажмуренные веки плывут яркие пятна, звездочки. Из открытого, видимо, окна доносится ликующий рокот толпы, бухают оркестры, мелодии перемешиваются, сливаются в стройную разноголосицу...

Праздник! Первое мая!

Открываю глаза...

Нет, это не сон!

Велосипед! Он стоит недалеко от кровати, это его никелированный руль, ободья колес, спицы слепят ярким солнцем. Синее небо сияет...

Потом мы с папой спускаемся вниз, к Москве-реке по Покровскому и Яузскому бульварам.

Я еду на своем велосипеде и звоню, звоню...

На набережной, у Воспитательного дома, много народу. Люди стоят на тротуаре, встречают войска, идущие с парада на Красной площади.

Я устроился на решетке ограды, посаженный папой. Что-то тяжелое грохочет по мостовой.

Где папа? Я в панике: исчез папа!

Да нет, вот он, вот!

И мы опять по бульварам, на велосипеде, со звонком поднимаемся к нашей Покровке.

Это – 1 мая 1941 года.

Навсегда в памяти осталось подмосковное Пушкино с его грибами, березами, голубой Учой, плавно проходящей под высоченным мостом, по которому мчались, весело гудя, синие электрички. Пушкино, с сачками для бабочек, со сладчайшими леденцами-петушками на палочках, с мороженым в круглых вафельках, с кинотеатром, где показывают «Золотой ключик», – здание деревянное, старое, с резными украшениями, с красивыми балконами под потолком. А на другом конце городка – узенькая речка Серебрянка и ярко-голубые стрекозы, застывшие над ней; жарко, в воде толстые речные лилии пахнут, словно шоколад...

«Синяя птица»

Еще до войны я был в Художественном театре.

Допустим, это был 1941 год: январь или февраль. Но мне кажется, это было раньше. Итак, мне шесть лет.

Мама привела меня на «Синюю птицу» во МХАТ.

Спектакль я помню отчетливо. Поразило меня Царство Ночи, с Ужасами, которые вырывались из пещер, Призраками, бродящими в полутьме. Помню, как заколотилось сердце, когда распахнулась стена, засияло голубое небо и птицы... тысячи птиц замелькали белым в этом небе.

Помню грусть (откуда бы взяться грусти у меня, шестилетнего пай-мальчика?), которую вызвала у меня Страна Воспоминаний, медленно возникающая сквозь дымку, с домом-треугольником, как на детской картинке. Золотистые лучи по бледному небу...

«Прощайте, прощайте, пора вам уходить...»

Даже сейчас, когда я вспоминаю это, подступают слезы.

Вот так я стою на Ваганьковом у могил деда, папы и мамы; камень безмолвный, тишина... Но ждут дела, суматоха... «Пора вам уходить...» У мертвых тоже свои дела, своя жизнь, таинственная, ей не надо мешать... «Пора вам уходить...»

Когда после спектакля мы вернулись домой, в нашу ми-

люю квартиру на Покровке, вдруг для меня наполнились новым содержанием самые обычные предметы на кухне. Вот отчетливо я вижу старую нашу, еще дореволюционную, раковину с пятнами ржавчины, слышу, как раздается металлический звук падающей капли, а я все стою и жду появления Духа Воды. Горит огонь в плите, уютно потрескивают дрова, а я вспоминаю, как плясал в тот день Дух Огня...

Сейчас мне семьдесят шесть лет. Стало быть, семьдесят лет назад моя мама привела меня за руку в Художественный театр. А я все помню в подробностях. От самого здания и особенно от зрительного зала осталось ощущение необычайного уюта – поблескивание полированных ярусов, полумрак, в котором светились матовые кубики...

Много раз потом я был в Художественном. Он даже стал на какое-то время моим родным домом, я даже мечтал – глупые мальчишеские мечты! – что, вот если начнется война, я буду с пулеметом защищать мой милый театр. Даже если все взрослые разбегутся, я один стану защищать театр!

С тех пор я видел все спектакли той поры (1948–1959). Обожал, боготворил актеров. Да и было за что... Но то, первое посещение МХАТа – с мамой – как-то особенно врезалось в память: видимо, незнакомой мне тогда атмосферой старой Москвы, которая еще витала в Художественном и создавала свой особый микроклимат, домашний, уютный, располагающий к доверчивости и добру. Во всей Москве ничего подобного не было, а здесь, как в чудесном ларце, в котором

когда-то хранились благовония, что-то напоминало и живо говорило о былом. Даже в пятидесятые годы.

Во время московской Олимпиады, в 1980 году, забрел я как-то во МХАТ, где тогда шел капитальный ремонт. Снаружи вроде бы все по-старому. Внутри – ужас запустения... Тьма, битый кирпич, проволока цепляется – и пыль, пыль, пыль...

Тот самый зал, где мы с мамой когда-то были на «Синей птице», был мертв, взломан, поруган. Тишина, тьма, набухший и грязный паркет в пыли, сочится во тьме и глухой тишине вода – кап, кап... как тогда у нас на кухне, в раковине... Шаги гулко отдаются в пустом, без кресел, в досках и грязи, зале.

Я, стоя посреди разрушенного зала, крикнул в темноту:
– Браво! Спасибо!

Тишина.

И ничто больше не напоминает о старой Москве...

Смерть. Конец.

22 июня 1941 года

Брызги солнца на ресницах. Синее-синее небо. И, наверное, оттого, что мы с мамой отправились на утренник в кинотеатр «Колизей», – радостное чувство праздника. Купаясь в солнце, мы подходили по Чистопрудному бульвару к «Колизею».

За его ротондой, в правых дверях собралась небольшая толпа. Мы подошли поближе. Контролерша в темном платье говорила, что только что по радио передали о нападении Германии на СССР.

Мама повела меня назад, домой. Я был полон горьким чувством несбывшегося счастья. Хотя фильм – а это была комедия «Старый двор» с участием Карандаша – я все-таки посмотрел в этот день, видимо, выканючил. В кино я был удивлен тем, что мама в смешных местах (мячом разбивают окно и т. д.) не смеялась.

Очень скучным было это воскресенье. Соседи по квартире – Ася, Костя, Мария Исааковна – целый день о чем-то говорили, не обращая на меня ни малейшего внимания.

Вечером лежу в постели. За письменным столом бабушка читает газету. Горит настольная лампа. Бабушка недовольным, я бы сказал, поучающим тоном выговаривает мне, что, дескать, теперь вот я пойму, как себя вести, что такое дисциплина, и всё в таком духе. Помню эту лампу, ее свет, темный

силуэт бабушки, тень на потолке и стене, шелест газетных страниц... Потом заснул.

Скучный был день 22 июня 1941 года. Но почему-то его я запомнил навсегда.

Первая бомбежка

Бомбежек было много. К ним мы относились почти равнодушно. Днем даже не спускались в бомбоубежище. По ночам папа дежурил на крыше, один раз принес мне хвост от зажигательной немецкой бомбы. У меня была целая коллекция осколков от снарядов, их и дядя Костя, сосед, мне приносил. От них исходил прекрасный запах: пороха и стали. Они были блестящие с одной стороны и неровные, зазубренные – с другой.

Почти каждую ночь мы проводили в подвале расположенной в нашем доме аптеки, в ставшем уже родным приторном аптечном запахе бомбоубежища. Кроватью мне служил старый пружинный матрас, обшитый выцветшим от времени ковром – по голубому полю бледно-зеленые и коричневатые квадраты. К ночным тревогам мы постепенно привыкли...

Но вот первую бомбежку я не забуду никогда...

Помню громкий лай металлических собак, визг, вой, грохот, тататаканье пулеметов. Дом трясло, окна взрывались белыми снопами, и моей детской жизни явно что-то угрожало, что-то такое громадное, пугающее, от чего не может спасти ни бабушка, ни мама, никто! Я дрожал, плакал, кричал что-то, захлебывался, меня унесли в коридор, подальше от окон, но истерика не проходила...

А он все продолжался, этот страшный грохот, будто били

железной палкой по крыше, по мне, по всем сразу...

Война

В каждом эпизоде вспоминается она мне по-разному. Попробую описать какие-то важные для меня мелочи. Начало войны.

Из-за бомбежек я был перевезен в свое любимое Пушкино, где тогда находилось общежитие студентов папиного техникума связи.

Жили мы с бабушкой.

Лето. Жарко. Объявили: всем на рытье «щели». И все пошли. И бабушка. Я заартачился и остался. Копался в песочке. Потом ребята пугали меня: мол, тех, кто не работал, не пустят в укрытие. Я забеспокоился...

Тут же врывается воспоминание: вечер, белая стена общежития, и на этой трехэтажной стене – фильм «Волга-Волга». Еще до войны было принято показывать кино вот так, на стенах домов.

Еще воспоминание. Глубокая ночь. Темно. На горизонте каким-то слабым пламенем горит Москва. Во тьме чей-то голос: «Пресня...» – «Да нет, это Замоскворечье...» И опять тишина... Мы стоим на крыльце дома и смотрим во тьме на пылающую по всему горизонту Москву.

И помню странное чувство – это правда, было такое чувство! – досады, обиды на взрослых за прерванный мир игр, улыбок, дач, белых платьев, зонтиков, мороженого, такого

вкусного, – оно лежало меж двух круглых вафельек, на которых обязательно были имена – «Валя», «Лена»...

Чувство капризного раздражения и понимание того, что, как ни капризничай, на сей раз ничего не изменишь...

Война – ну, во-первых, это почти еженощный спуск по черной лестнице в бомбоубежище-подвал. Отец с нами не ходил. Я, держась за руку мамы, в пальтишке, перевязанный башлыком, который, видимо, остался с еще дореволюционных времен, – да, он пахивал нафталином, – с вещмешком за спиной шагал вниз по темной лестнице. Гулко хлопала «черная» дверь, и мы попадали во двор.

Как описать эту странную тишину, что стояла вокруг?

Было страшно. Прямо за домом напротив в черном небе шарили четкие лучи прожекторов. Мы спускались в подвал, в аптечный запах. Иногда в подвале возникал отец – видимо, спускался с крыши, с дежурства. Шли томительные часы или минуты – в тишине, полумраке. Наконец, голос в круглом черном репродукторе вещал: «Угроза воздушного нападения миновала! Отбой!»

В подвал, по-моему, мы с мамой спускались в первые дни реальной опасности. Немцы были совсем рядом с Москвой, даже я чувствовал напряженность...

На нашем доме, на углу, висел плакат: крысообразный Гитлер порвал договор о ненападении, а могучий красноармеец, весь алый, штыком пробивает ему нос. Почему-то

я помню этот плакат по прогулке с соседским мальчишкой Витькой Альбацем и его матерью, она позднее у меня ассоциировалась с Фанни Каплан – хотя черт ее лица я совершенно не помню... Вскоре она исчезла. Вышла на улицу и не вернулась – была арестована. Ее мужа, Витькиного отца, арестовали еще до войны – он был одним из руководителей электрификации Северной железной дороги. Остались Витька и его старшая сестра Нелли одни. Если бы не нянька Варвара – Варька, как пренебрежительно звал ее Витька, – они, конечно, погибли бы. Но Варя проявила чрезвычайный героизм – осталась жить с двумя детьми «врагов народа». Ей, может быть, невдомек было все это политическое шаманство, а может быть, и понимала она происходящее, да ее честная русская или просто человеческая душа не позволила ей бросить сирот на произвол судьбы. Вот и посадила она себе на шею двух в общем-то не очень воспитанных детей. Жили они пыльно, грязновато, но Витька учился в школе, Нелли – тоже, пили-ели на Варькины невеликие заработки, не догадываясь, конечно, какой героизм эта Варька проявляет, на какую жизнь себя обрекла...

Говорят, русский народ – антисемит...

Помню, как неслась ее брань по черной лестнице вдогон Витьке – и гад он ползучий, и паразит, и еще что-то, но кормила-поила его, стирала «паразитское» белье, штопала-перештопывала...

Из войны помню еще – мама брала меня иногда с собой в пединститут, где тогда преподавала. Идем по улице – видим дом, в который попала бомба. Весь дом цел, нет только наружной стены, и видна вся внутренность: комнаты, коридоры... Врезалась в память кровать где-то на пятом этаже, застланная, аккуратная.

Навстречу идут люди в желтых прорезиненных комбинезонах, в противогазах, в резиновых перчатках и таких же капюшонах – жуткая картина...

Мама часто рассказывала мне об Александре Александровиче Реформатском. Да я и сам его отлично помню. Маму он называл Микки или Ирэн. Реформатский был крупнейший ученый, светило в языкознании. В пенсне, с рыжими усами и бородкой, этакий штамп русского интеллигента-разночинца, из поповской семьи.

Он вызывался вне очереди оставаться на ночные дежурства в пединституте. И с ним всегда оставались его студенты. Реформатского ставили в пример: вот, дескать, какой бесстрашный патриот – не уваливает. А потом обнаружилось, что они вместе со студентами выпили во время тех ночных дежурств весь спирт, какой только смогли найти на кафедре медицины пединститута, – выпивоха профессор был страшный. Я очень любил его приходы к нам домой: он всегда привносил с собой струю такого полузапрещенного веселья, острил, распространяя вокруг себя приятный пшенич-

ный запашок.

Ходит легенда, как он, выделенный парторганизацией Института русского языка АН СССР для ознакомления приехавших американцев-лингвистов с социалистической новой Москвы, напоил их до бесчувствия у первого пивного ларька, припася для «ерша» в каждом кармане по «маленькой». «О, русиш культуриш», – заплетающимися языками молвили американцы. – «А хулишь?» – молвил Александр Александрович.

Его споры с академиком Марром – его ярким противником – закончились тем, что Реформатский лишился должности, а на жизнь зарабатывал, кладя кирпичи на стройке.

А знаменитая его речь у гроба Винокура, тоже крупнейшего филолога! Говоря о его честности и подлинном патриотизме, он вспомнил осень 1941 года: «25 октября, в тяжелейший день войны, ты остался в Москве, когда все, – и он обвел рукой скорбно стоящих у гроба маститых профессоров и академиков, – когда все они драпанули».

25 октября, когда немцы вплотную подступили к Москве, был действительно страшный день. Драпанули почти все «ответственные». По шоссе Энтузиастов мчались «ЗИСы», «эмки», грузовики, перегруженные скарбом... В учреждениях жгли бумаги, документы, асфальт был покрыт черным бумажным пеплом, который, как черный снег, медленно плыл в воздухе...

Папа был на трудовом фронте, рыл траншеи, чуть не попал в окружение, но пробрался в Москву, выведя с собой большую группу людей. Помню его появление: мы с мамой вернулись с улицы, и за кухонным столом, служившим и подоконником, и холодильником, на фоне яркого окна я увидел совершенно черный силуэт папы. Он был черен от многодневного скитания по лесам, был небрит, худой...

Отец сказал, что линии фронта нет: на всем пути они не встретили ни одного красноармейца, что надо немедленно уезжать из Москвы, потому что вот-вот начнутся уличные бои...

Однажды он пришел с жуткой новостью о падении очередного подмосковного города... Мы все сидели в столовой, молчали. Мама вдруг уронила голову на ладони, и пальцы ее, обняв голову, прошли сквозь волосы. Сколько уж лет прошло, а я отчетливо помню этот жест. И был он настолько выразителен, что мне, семилетнему мальчику, стало ясно: все стало страшным и четким, неумолимым...

А вечером мы сидели в той же столовой, горел свет, и окна были замаскированы черными бумажными шторами. Вдруг откуда-то издалека донесся протяжный вой. Он рос, ширился, пронесся над нами, стал удаляться, стих, потом все как-то дернулось, папин стул качнулся под ним, и папа чуть не упал, ему пришлось схватиться за стол, чтобы не упасть, а диван подо мной сам поехал в сторону. Звякнуло треснувшее стекло. Потом мы слышали отдаленный мощный гул,

будто кто-то палкой, обернутой в мягкую вату, сильно где-то далеко жажнул по большому барабану. Это немецкая торпеда попала в здание ЦК партии, где в это время шло заседание с участием писателей. В этот день там много погибло народу, в том числе драматург Афиногенов...

Ходили слухи, что в некоторых неразорвавшихся немецких бомбах будто бы находили листовки от немецких рабочих со словами солидарности с нами... Думаю, что желаемое выдавалось за действительное.

Помню запах рыбьего жира – бабушка случайно нашла пыльную бутылку на антресолях и жарила на нем картошку – такой вкусной картошки я никогда не ел... Помню и другие запахи: какой-то особенно пряный, ароматный от меховой отцовской жилетки, новенькой, выданной ему вместе с новенькими ремнями и прочим обмундированием: он записался добровольцем. И удивительно свежий, острый запах каракулевой ушанки...

Помню звонки по телефону с наблюдательного поста ПВО, где дежурил какой-то наш знакомый. Он «по блату» предупреждал нас за 10–15 минут до воздушной тревоги, что летят немцы...

Помню шпиономанию. Семен Григорьевич Займовский, известный переводчик, знаток английской литературы, был арестован на улице за то, что был в шляпе.

Его приняли из-за шляпы за немецкого шпиона, потом

все-таки выпустили.

Помню речь Сталина поздно вечером в нетопленной темной комнате Марии Исааковны Хургес, нашей соседки; слова, медленно падающие из мятого черного бумажного круга репродуктора, и всех – маму, папу, бабушку, застывших, как в игре «штандер», в разных позах, слушающих...

А потом была эвакуация, Тбилиси... Но это уже другой рассказ.

Эвакуация

Как было принято решение уехать из Москвы, как собирались пожитки, предотъездная суета – не осталось в памяти. Помню только слово «ВКВШ» – что-то связанное с высшей школой.

Меня предупредили: выбор игрушек ограничен. Знаю, что бабушка очень не хотела ехать – как это она, потомственная москвичка, вдруг уедет куда-то к диким грузинам? Все-таки любовь к дочери и внуку пересилила, да и захлестнула общая паника.

Как-то бабушка ночевала у своей парализованной родственницы в Замоскворечье. Ночью был налет, рвались бомбы... Родственница что-то хотела сказать, но тянула только: «Ол-лл-а, ол-лл-а...». Это, видимо, сильно подействовало на бабулю: представить только: «масквички» с Пятницкой, хранящие еще быт и нравы Москвы Первопрестольной, – во мраке холодной комнаты, скудно освещенной красноватым светом пожара; отвратительное кваканье зениток; занудный до боли зуммер немецкого самолета, то еле слышный, то звучащий где-то рядом; дрожащий от взрывов пол и это: «Ол-лл-а, ол-лл-а...» в темноте.

Да...

Выбор игрушек был весьма ограничен. Взял я своего любимого Бибабо – клоуна с доброй улыбкой и карими глазами,

несколько солдатиков и книгу «Марка страны Гонделупы».

Не помню чувств, которые возникли во мне при расставании с Москвой...

Зато четко помню – ночь. Видимо, поздняя – хотелось спать. Мы – мама, бабушка и я – одеты по-дорожному. Я в валенках, башлыке и шапке, за спиной – вещевой мешок. Полная тьма и тишина. Как-то добрались до Казанского вокзала. Помню гигантские своды залов этого вокзала, полумрак, абсолютно темный перрон и черное от мрака купе. На платформе ухарски ухал оркестр, что-то вроде: «Топор! Рукавица! Жена! Мужа! Не боится!» Мы сидели в темном купе. Мне показалось, что окно закрашено изнутри – не было видно почти ничего, впрочем, помню какие-то пляшущие вприсядку фигуры на перроне. Вещи наши – багаж довольно громоздкий – были сданы в багажный вагон. С собой взяли только заплечные мешки.

А! Горела свеча. Мы ехали в мягком вагоне. Слабый свет освещал купе. Поезд все не отходил. Долгие минуты (часы?) ожидания. Прощание с папой – не помню.

Поезд наконец тронулся. Поехали. Ехали несколько минут, потом поезд остановился. Говорили: бомбежка, во время бомбежки нельзя ехать... Я заснул. Спали мы почти всю дорогу одетые, чтобы – «на всякий случай» – сразу выпрыгивать из поезда.

А потом мы ехали снегами. Ехали очень долго. Наш сосед по купе, немолодой военный, резал колбасу скальпелем,

резал очень тщательно и точно, и по этим признакам мама угадала, что он хирург. Нам тоже что-то перепало. Мама часто выходила на остановках, вгоняя меня в дикую панику и ужас. Этот ужас преследовал меня всю дорогу. А вдруг она отстанет от поезда?! Какое чувство я испытывал – не помню. Отчаяния от того, что мы можем остаться одни? Страх за одиноко стоящую на пустом перроне, отставшую маму? Надо сказать, что в подобных ситуациях я почему-то остро переживал за маму, жалел ее до слез. Так было потом и в школе, когда она забыла принести на школьный спектакль в Тбилиси изготовленный нами с ней руль для машины (я изображал шофера), – я чуть не плакал, глядя на ее измученное лицо. Так я полез, ослепленный яростью, 26 сентября 1942 года в драку с тремя грузинскими юношами (а мне было восемь лет), которые отняли у меня поясок с железными бляшками. Его мне подарила мама на день рождения. Видимо, купила на последние деньги. А они спокойно и насмешливо сняли с меня этот поясок и пошли неторопливо. Меня ослепило мамино худое и измученное лицо – не помню, как поясок очутился у меня в руках, я хлестал ими, этими железяками, по изумленным лицам красивых юношей из Тбилиси – и победил!

Или в день 31 декабря 1942 года – в Новый год – я страдал от того, что не будет елки, ныл, канючил, и вдруг – о чудо! Пушистая сосна у нас в комнате! И игрушки – картонные рыбы и звездочки! И подарок – а вот какой, не могу вспом-

нить, не могу...

Помню только радость, легкость... И как стало жалко до боли в груди маму, потому что я понимал, как тяжело все это ей далось...

Так вот, в тот день я боялся, что мама отстанет. Но все обошлось благополучно – мама выходила на частых остановках, что-то приносила съедобное... На одной станции, помню, к нам в купе набилось много молодых (отчетливо помню, что они были очень молоды) военных – наверное, выпускников военных училищ, ехавших на формирование.

В купе остро запахло кожей, гуталином. Военные притащили с очередной станции целых два противня с пирожками, начиненными картошкой, и соленые огурцы... Тепло в купе, полно народу, весело и тревожно, хрустят огурцы на зубах, и нежно тают пирожки во рту – уже забытые с «двойны», да и совсем иные какие-то, «деревенские» на вкус, а в опаловое окно по-новогоднему уютно заглядывают лапы елок, согнувшихся под пудовой мягкой тяжестью блестящего снега... Какие-то разговоры о войне, шулки, уверения в скорой победе...

Таким же молодым был и Жора – мой брат по отцу. Я плохо помню его. Он был гораздо старше меня. Помню его тетради с таинственной алгеброй. Помню лицо, бритую голову, черные большие глаза, крупный нос. Нелегко ему, наверное, приходилось в доме у мачехи... Очень хочу надеяться, что

мама хотя бы частично заменила ему родную мать...

Но из девятого класса он ушел в военное Сумское артиллерийское училище. Это было еще до войны... 22 июня 1941 года окончил его. В один из приездов я помню его на кухне нашей – жаркая кухня, бабушка и Ася, наша милая соседка по коммуналке, сидят у окна, а Жора, уходя, улыбается, блестя цыганской улыбкой, и, как-то очень ловко повернувшись на командирском каблуке, распахивает задний разрез в шинели, демонстрируя целый ряд маленьких сияющих пуговиц со звездочками... А я стою, держа в руках руль самоката, ибо я изображал метро – ездил по квартире, по коридору в кухню и обратно. Пол в кухне был из толстых, отполированных временем белых досок с сучками, а один сучок, самый крупный, раздваивающийся, был при въезде в кухню из коридора и заставлял мой самокат мягко гроыхать и дергаться, создавая полную иллюзию стрелок на рельсах в метро...

Так вот – Жора блестит улыбкой, сияет пуговицами, амуницией, машет рукой и уходит, за ним глухо хлопает «черная» дверь. Жарко на кухне, за ярким окном зима... солнце, синее небо...

Когда мы эвакуировались, фронт подошел близко к Москве. А потом он стал совсем рядом, чуть ли не в Химках, и Жора вместе с товарищами появился, видимо, проездом в часть, к нам, в пустую квартиру, где была одна Ася, ночью. Отец уже был на фронте. Ася рассказывает, что они – их было много, – усталые, веселые, – вытряхнули из сво-

их вещмешков концентраты гречки, консервы. Ася наварила им еды... Они поели и завалились спать одетые, кто где – на кроватях, на стульях, на полу... Ася ходила и смотрела на них – молоденькие, говорит, все, красивые... Рано утром они ушли.

Концентраты, консервы – те, что остались, – отдали Асе.

Мы долго, еще три года, получали письма от Жоры, фотографии, посылочки...

А потом он исчез... На Курской дуге пропал без вести... И они – его друзья – тоже пропали, – потому что если хотя бы один из них был жив, то он, конечно, пришел бы на Покровку, в ту квартиру, где ели они кашу и в последний раз мирно спали...

Мама ходила с запросами по военкоматам, в Министерство обороны. Ответ один: был ранен, отправлен в госпиталь, в госпиталь не прибыл...

Вот и не стало у меня старшего брата, которого я так плохо помню и которого так сильно любил бы потом...

Ну а тогда, в поезде, все эти молодые военные были в новеньком обмундировании, но без погон – их плечи туго обтягивало темно-зеленое командирское сукно... Погоны ввели позже, мы уже жили в Тбилиси...

На одной станции произошло следующее. Поезд стоял. За окном сверкала зима.

Перрон скрипит и визжит снегом. Рокочет дверь, открываясь, и мама с мороза, в каракулевой кубаночке, разрумя-

нившаяся, что-то кричит нам в купе, – радостная и взволнованная. За окном бегут люди. Кто-то несет на вытянутых вверх руках большую, как простыня, белую бумагу – видимо, ее содрали с забора или с доски с афишами, она тяжелая, вся с задней стороны в пластах клея и старых афиш и объявлений, поэтому висит прямо и грузно, не колышась от ветра, – и я вижу одно слово: ИНФОРМБЮРО и число – 11 декабря 1941 года. Слышу радостный всхлип гармони, люди на перроне обнимаются, пляшут... Человек с бумагой на вытянутых руках идет дальше, к другим вагонам, показывать в другие окна...

Это наши отбросили немцев от Москвы. Это то самое начало разгрома немцев под Москвой! Когда ниточка надежды уже почти порвалась – это случилось!

Захлебывается гармонь, поет снег... Кто-то выбрасывает свои вещи из вагонов: едем обратно, в Москву! Из нашего вагона тоже кто-то швыряет вещи... Представляю себе состояние мамы: старуха-мать и шестилетний сын, вещи в купе и в багажном вагоне – много, видимо, вещей... А в Москву – родную, осиротевшую, пустую и холодную, но родную, – можно вернуться и жить дальше! Я что-то кричу, бабушка говорит, мама напряжена, сдвинула брови... И решает все-таки ехать дальше!

Ветви, лапы елей под мягким гнетом снега мягко поплыли назад, мешки, чемоданы, гармонь, быстрее, быстрее, и мы уже несемся дальше, на юг, в полную неизвестность...

Так мы и ехали очень долго, бывало, днями стояли в тягучей тишине. Земля вокруг обнажилась, стало тепло, проехали сонный Сталинград, приблизились к Кавказу. Хирурга сменил какой-то важный чин из НКВД. С выбритой до синевы головой, с орденами.

Наконец пересекли границу с Грузией. Тепло! Мама с военными жгла капустные листья на печке в тамбуре, изготавливая «табак»... Я читал «Марку страны Гонделупы» – первая мною самостоятельно прочитанная книга.

Вечером, решив, что мы в безопасности, разделись впервые и, блаженствуя, заснули.

И тут случилось вот что.

Глубокой ночью я проснулся от луча фонарика, который в темноте ослепил меня. Поезд стоит. Мама что-то кричит в темноте. В коридоре – топот ног, плач. Голоса. Вижу, как отбирают наши документы. Мама, сцепив руки, стоит перед соседом по купе (из НКВД который), умоляет о чем-то. Тот обращается к молодому грузину в военной форме с фонариком и с нашими документами в руках. А он кричит: «Можэтэ нэ дэлать минэ указаний! Я нэ вам падчиняюсь, я падчиняюсь энкавэдэ Грузии! И виполниаю его приказы!» Кричит, голос его срывается на визг.

Все это в кромешной тьме, с проблесками фонарика, луч которого выхватывает из черноты встрепанную бабушку, растерянную мать...

Меня быстро одевает мама, на мне опять вещмешок, в ру-

ках еще что-то... Бабушка с узлами, мама и я, спотыкаясь и ударяясь в темноте о выступы, идем к выходу из вагона. Рука мамы дрожит. Она выкрикивает какие-то слова – ВКВШ!.. Басилашвили!

Но вот мы уже на перроне в крошечной грузинской тьме, рядом с грудой наших вещей, слышу бабушкино бормотанье: раз, два... четыре... Это она считает узлы с вещами... Судя по шуму голосов, высадили не одних нас, а очень многих. На перроне – толпы народа, шевелятся, кричат.

Вдруг отчетливо слышу голос, поразивший своим спокойствием.

– Не волнуйтесь, уважаемая, – говорил какой-то мужчина. – Завтра в Тбилиси я получу ваш багаж и сдам в камеру хранения. Вы поняли? Успокойтесь, уважаемая. Постарайтесь во что бы то ни стало забрать свои паспорта у начальника станции, не соглашайтесь никуда ехать, кроме как в Тбилиси, вы имеете на это все права, и во что бы то ни стало завтра же выезжайте отсюда в Тбилиси, я буду встречать все поезда. Вы поняли? Успокойтесь, уважаемая! Не волнуйтесь, уважаемая! Все будет хорошо...

Голос с акцентом, лица не видно, просто темная фигура в черном проеме двери.

Поезд тронулся, бухнул буферами с головы поезда – блям-трам, блям, блям-трам, дран-брын – и дернулся, и пошел, пошел, уже без нас, набирая скорость, на перроне закричали, заплакали, проплыло мимо нас наше мягкое купе, энкавэд-

эшник с орденами, уют, все это исчезло навсегда во тьме...

Хачмас.

Никогда не забуду название этой станции. Здесь правительство Грузии выбрасывало нас, русских, едущих в Грузию, спасающихся от немцев, смерти, голода, – выбрасывало в неизвестность.

Думаю, эти высокостоящие решили, что немцы уже победили или очень скоро победят, и пытались таким образом заранее заработать себе политический капитал перед будущими хозяевами. Ведь беженцы ехали по вызову на работу в Грузию, с билетами, командировочными бумагами, с детьми, стариками...

Вышвырнули вон.

Паника бабули и мамы передалась мне. В темноте мы не видели друг друга. Рука мамы дергалась. Но было в маме какое-то волевое начало. Она заставила себя не волноваться и начала действовать. Из тьмы южной ночи, набитой звездами, мы попали в вокзальное, слабо освещенное желтое помещение. Крики, брань, мольбы. Люди здесь уже не первый день. На полу лежит девушка со светлыми волосами в колышущейся массе вшей... Бабушка уложила меня на узлы, гладила по голове, шептала. Сквозь дрем я слышал, как выдавали паспорта вместе с билетами на Махачкалу – куда-нибудь, лишь бы не в Грузию! Выкликали фамилии, люди брали билеты: а что делать? Все-таки хоть что-то...

Мама единственная не взяла билет на Махачкалу.

Проснулся я утром – солнце, синее небо, прохладно, и ни одного человека в зале. Только мы втроем. Всех отправили. Тишина и покой.

Я уже начал верить в великие слова «ВКВШ» и «Басилашвили». Стоит их произнести, и все будет хорошо... Мама потом рассказывала, что она все-таки проникла в комнату начальника станции – я его помню: мужик в зеленой с красным форме – и заявила, что поедет только в Тбилиси, потому что ее муж – грузин, сын – грузин, Басилашвили, а сама она едет в Тбилиси, в университет, по приглашению на работу, по направлению ВКВШ. Слава богу, отец успел сунуть маме перед отъездом то ли свою метрику, то ли еще что-то, удостоверяющее, что он действительно грузин.

Мама показала начальнику этот папин документ, мою метрику... «Что вы хотите?» – «Я хочу следовать туда, куда направило меня правительство, – в Тбилиси, больше я нигуда не поеду! Мой муж – грузин из Тбилиси!»

Вот это и сработало. Вышла мама с победно поднятой рукой, в которой были эти документы.

Потом была нервотрепка с билетами – то ли достанутся, то ли нет.

Бабушка отправилась на базар, что был рядом с вокзалом, и пока мама бросалась со мною от окошечка к двери, от двери к окошечку – требовала билеты, бабушка запасалась продуктами. И вот уже и билеты в руках, и час отправления близок! А бабушки, моей родной бабушки – нет. Время летело, я

представил себе, как она останется навсегда в этом проклятом Хачмасе, в толпе кричащих и вшивых людей, без денег, без нас, без всего, и ноги у меня подкосились. В груди лопнул горчайший ком, и я стал кричать, заливаясь слезами, орать, звать ее, мою родную и добрую. Сердце выскакивало у меня изо рта, а крик мой, наверное, несся по всему Хачмасу проклятому, по всей Грузии, по всему миру:

– Где моя бабушка??!

Но вот она бежит ко мне, целует, и мы снова втроем, правда, не в прежнем мягком вагоне, а в общем. Раз... два... четыре... Прохладное солнце бьет в грязное окно. Когда же, когда же мы поедем! И вот: трам-брам, трам-бам-бам! Один толчок, другой, поезд дергается, со скрипом начинает ползти, быстрее, быстрее...

Все!

В вагоне – курды, грузины в ярких одеждах, спертый воздух.

Не правительство Грузии, а эти простые люди, с натруженными руками и суровыми лицами, видят, что перед ними – несчастные беженцы из Москвы: маленькая старушка, молодая женщина с исхудалым нервным лицом и грязный, заплаканный мальчик. Нам протягивают яблоки, лепешки, стелют на полку какие-то ковры пестрые, что-то гортанно успокаивающе говорят, бабушка гладит меня, что-то ласковое шепчет, мама, напряженная, рядом... Хорошо... Я заснул.



В Тбилиси приехали темной ночью.

Ни зги не видно. Тепло. И опять тот же голос, что так волшебным звучал в Хачмасе: «Здравствуйте, уважаемая, я получил ваш багаж, он – в фаэтоне, пойдемте...»

Фаэтон – телега с пьяным возницей.

Поехали. Едем куда-то в гору, возница говорит: «Раньше здесь арбузы, если плохие были, в реку сбрасывали, а теперь, при этом бандите Сталине, – вообще никаких нет!»

Мои в ужасе.

Приехали. Хоть глаз выколи. Встретивший нас мужчина помог поднять вещи по крутой деревянной лестнице... И тут – он и мама закурили от одной спички – я на секунду увидел лицо нашего спасителя: черные усы, большой нос...

Его мы никогда больше не видели. Он просто помог нам. Просто помог.

Откуда у семилетнего мальчишки такая тоска по родине?.. Всю жизнь будет сопровождать меня эта тоска – по родине. По детству. По хорошему...

Тбилиси.

Приехали, «сбежали» из военной Москвы три человека: тридцатитрехлетняя красивая, интеллигентная, внутренне очень растерянная, внешне предельно собранная, со сжаты-

ми плотно губами, волевым прищуром, порывистыми резкими движениями женщина, старуха пятидесяти девяти лет (как странно – мне сейчас семьдесят семь!), полная, перекатывающая свое тело, словно колобок, с карими глазами и седой головой, и пухлый, с большими ушами, росший в московском интеллигентном доме, мальчик в коротких штанишках, со светлыми волосами, пухлой нижней губкой, привыкший к ласкам и игрушкам.

Поселились мы в маленькой комнатушке брата отца.

На стенах – громадные портреты Сталина и Берии.

За шкафом – дед Ношреван Койхосрович, которого я не то чтобы боялся, а как-то стеснялся, что ли... Рядом с ним, тихим и мрачным, неразговорчивым стариком, я чувствовал себя излишне изнеженным, чуть ли не девочкой.

Он все время сидел за шкафом. Всегда – мрачный. Дед вылезал из-за шкафа, когда мы уходили из комнаты. Тогда он ел: стеснялся женщин и своей нищеты (в Тбилиси жили трое его детей; сами бедствовали, но помогали ему чем могли).

В революцию дед отдал всю землю добровольно (может, из страха перед возмездием: все-таки был полицейским приставом!) и с четырьмя детьми и женой переселился в Тифлис. Жена рано умерла...

В тридцатые годы о деде вспомнили, нашли, забрали в ЧК и били так, что он до конца жизни многие русские слова стал произносить наоборот: не «мама», а «амам», не «хлеб»,

а «белх». Сидя с нами за нищенским столом беженцев, он, случалось, показывал на портрет Сталина и спрашивал: «Кто такой?» Мама звенящим от ужаса голосом отвечала:

– Это наш великий вождь и учитель товарищ Сталин, де-душка!

– Он бандит. Я его – вниз. Потом он меня – дзирс (вниз). Взгляд дедушки застывал, и он становился очень похож на Сталина в старости – те же оспины, те же редкие волосы назад, те же прокуренные усы, карие глаза...

Потом в одно мгновение лицо его напрягалось, глаза меняли цвет, и он произносил:

– Он – хороши чэловэк!

Пугался. А вдруг опять заберут гəпəушники! Но не забирали. Забыли все. Один раз я застал его, беднягу, у булочной с протянутой рукой...

Карточек у него не было. Жил впроголодь... Что мы могли ему дать – на свои одну рабочую и одну иждивенческую карточки?!

Я увидел его на проспекте Руставели – он просил милостыню, – примчался к маме, мама – к булочной, утащила его домой. Дядя мой его к себе забрал, в Авчалы, так он сбежал оттуда обратно в Тбилиси, к нам...

По утрам на галерее катал пустой бочонок для вина к кра-ну с водой, чтоб не рассохся бочонок.

Соседи негодовали:

– Ва! Опять Ношрewan тарaxтит! Ва! Спать не дает, честни

слова!

Стал мой дедушка нищим стариком без всяких средств к существованию. Бездомный, полусумасшедший человек, униженно доживающий свой век в одной комнате с невесткой, ее матерью и ее сыном. Внуком своим...

Зато хоронили его по высшему разряду! Оркестр гремел медью! Знамена реяли! Венки! Громадная толпа в черном, рыдающая в голос! В общем, похоронили с помпой на Верийском кладбище.

Три года спустя папа, вернувшийся с фронта, поехал в Тбилиси, чтоб поклониться могиле отца. Но... не мог найти ее местонахождение. Так мой дед до сих пор и лежит где-то там, над Тбилиси, без креста, без плиты... Царствие ему Небесное! Да будет ему земля пухом!

Вскоре мы переехали. Нас поселили в саду университета, в бывшей университетской кассе, комнатке метров в девять.

Тбилисская жара – на ее фоне все воспоминания этих лет. И походы с бабушкой на фуникулер, и какой-то дворовый самодеятельный спектакль – с афишей, которую милиционер приказал снять с улицы и повесить во дворе, и первый класс школы, куда я отправился еще до нашего переезда.

1 сентября мама стояла в перманенте, с иссиня-черными бровями, напряженная, натянутая, как струна...

Двор школы. Толпа родителей...

Тогда меня пронзило острое чувство жалости к маме. Ни-

чего я особенно не понимал – ни какого труда ей стоило прокормить нас, ни ее страха за мужа, ни трудностей ее общения со студентами-грузинами...

Я чуть не ревел. А может, и заплакал, когда нас повели в класс... Помню, звонок – большой, медный, грязный – в руках чьих-то. Мамины глаза, жадно смотрящие в мои.

Война, бомбежки, эшелон, Хачмас, Тбилиси, папа на фронте, наша армия отступает, начинающийся голод, страх за бабушку, за меня, гипнотическое желание запрограммировать в эту минуту, минуту первого шага в первый класс, всю мою дальнейшую жизнь... Вот что было тогда в маминых глазах. И такая растерянность где-то в их глубине, несмотря на волевой прищур и плотно сжатые губы. Было жалко ее, потому что я все это бессознательно чувствовал.

Начинался настоящий голод. Мама и бабушка работали на табачной фабрике, упаковывали пачки табака для фронта. Брала меня с собой. Значит, какие-то карточки дополнительные нам шли.

Все это – еще на Грибоедовской, 5.

Ходили в гости. К сестре отца, Ире. Там было хорошо. Ира жила в старом городе. Бесконечное переплетение кривых улиц. Милый старый дом... Угощение.

Бывали у Нины Дормишхановны – властной старухи, бывшей помещицы. Она жила в самом центре, дом ее когда-то был салоном на манер петербургских.

Скатерть, вышитая фамилиями знаменитостей. Карти-

ны Шарлеманя. Громадные ковры с ружьями или саблями. Нескончаемые скучные разговоры. Но – еда, еда! Хозяйка говорила, что ей привозят продукты ее бывшие крестьяне из поместья, которые помнят ее до сих пор и каждый месяц на арбах везут своей старой благодетельнице всякую снедь.

Нина Дормишхановна – нечто грузное, коричнево-белое, басовитое...

Отдали меня учиться в консерваторию, в класс виолончели. Почему именно туда? Во-первых, близко от дома. Во-вторых, все остальные классы были набраны. Педагог – Капельницкий.

Мама говорила: если спросят на вступительном экзамене, почему именно виолончель, – ответь, что всю жизнь мечтал играть на виолончели.

Так я и сказал.

Взяли.

На занятия меня отводила бабушка, таща чехол с виолончелью на спине. Ростом она была меньше виолончели. Мама по ночам чертила нотные страницы.

Уроки в консерватории были для меня мучением, дома я пугал всех соседей диким ревом фальшивых струн. Мозоли на пальцах, пыль канифольная, ее резкий запах... Постепенно начало расти отвращение к музыке вообще, к виолончели – особенно.

По приезде в Москву, когда мама поставила вопрос о продолжении учения, я встал на колени и умолял пощадить ме-

ня. Мама грустно махнула рукой.

В первом классе я впервые с ужасом узнал, как рождаются дети. И вследствие чего. Ребята со всех сторон – южный темперамент! – только об этом и говорили, выдвигали разные версии – каждый свою. С улыбками или лицами все познававших людей... Я бежал прочь от этих разговоров. Страшно, стыдно и до жути ново открывался другой, подлинный мир, который от меня прятали за диафильмами «Собирались лодыри на урок...», подарками, играми...

Нет-нет! Мои мама и папа не такие! Я твердо знал это. И бабушка не такая.

А эти грязные, вонючие и страшные рассказы – ложь и неправда! Ложь и неправда!

Ужас перед надвигающейся правдой жизни вселяли и какие-то военные картинки типа лубочных. На картинках – танки, красноармейцы, оторванные руки, кровь, кровь... В газете фото: на койке красноармеец; в предплечье у него застряла большая невзорвавшаяся мина.

Тбилисские госпитали. Сквозь решетки палисадника раненые в грязном белье, серые как мыши, протягивали куски сахара, хлеб, еще что-то, завернутое в обрывки мятых газет... Меняли на спирт, торговали. Сахар бывал обсосанный, пористый, как мартовский лед...

Мама иногда сочиняла детские книжки-копейки: «Отряд 25 ребят», еще что-то в этом роде. Там были такие строчки:

Сдавайте разное тряпье —
бумагу, рвань, чулки, старье...

Книжки издавались, иллюстрированные папиной сестрой Ирой. Так подрабатывали...

Память сохранила от тех лет постоянное чувство голода, осознание нищеты. Письма с фронта от папы и Жоры приходили редко. И что-то непонятное и страшное надвигалось — немцы наступали.

Соседка кричала: «Это Гиви (ее муж) заставил меня в партию вступить!» Кричала, чтоб слышал весь двор: «И этих (она показывала на большие портреты Берии и Сталина) он меня заставил повесить!»

Немцы были уже на Эльбрусе, заняли все горные перевалы. И многие здесь, в Тбилиси, с затаенной радостью ждали их прихода.

Не будет тогда, мечтали они вслух, этих «русских хохлов»! Можно будет торговать и ремеслом заниматься. Не будет энкавэдэшников, партийцев. Вернут поместья...

Опять будут князья — кутить.

Кинто — работать.

Ишаки — возить.

А мы будем — вино пить!

Итак, мы перебрались в университетский сад. Там все было и так же, и иначе.

Университет стоял на высоком холме. Под холмом шумела, бурлила быстрая, с каменистым дном речка Вэре.

Крутые склоны холма, от Вэре вверх, заросли деревьями, кустарником – образовался целый лес, настоящие джунгли, которые, добравшись до вершины холма-горы, переходили в университетский сад с туями, дорожками, обсаженными с двух сторон стриженными кустами какого-то южного вечнозеленого растения, испускающими терпкий эфирный аромат.

По-моему, в саду тогда росли и маслины, или оливы, – деревья с длинными серебристо-зелеными листьями, с плодами, которые назывались «пшаты».

Я взбирался на дерево и ел, обсасывая с косточки терпкую, вяжущую мякоть, во рту скрипело, но притуплялся голод, который терзал меня почти постоянно, хотя бабушка и мама отдавали мне все самое лучшее.

Поселились мы в маленьком домике, половина которого висела над обрывом, поддерживаемая столбами, а другая половина стояла на земле. Здесь мы и поселились. Вдоль всего домика шла терраса, куда выходили четыре двери – первая вела в комнату двух братьев-грузин. Придя с работы, они снимали обувь и сидели на террасе, задрав натруженные ноги на перила, пошевеливая иногда пальцами.

Вторая дверь была в комнату, где жила хорошенькая молодая женщина, блондинка; ярко покрашенный рот, маникюр...

Братья оказывали ей внимание, однажды зазвали к себе

в гости. После этого появился большой лист фанеры, перегородивший террасу и делавший невидимыми дверь и окна братьев со стороны блондинки. Она, видимо, дала им «отлуп». Братья были ошарашены до крайности. Но потом сказали: «Очень хорошо. Вонять не будет».

Дальше была наша дверь, рядом с дверью – окно в нашу комнату с полукруглым отверстием для выдачи денег. В комнате был стол, две кровати и большой несгораемый шкаф. Бывшая касса.

В комнате, висящей над обрывом, мальчик Алик с сестрой, мои сверстники, с бабушкой. Алик был не по годам развит и мучился только одной темой – происхождением человека. Причем его интересовало не происхождение человека от обезьяны, а происхождение детей, как это все получается. Он первый сообщил мне, что процесс сближения мужчины и женщины очень приятен.

Я с ужасом отверг эту гипотезу. Тогда он предложил мне самому попробовать и сказал, что приведет ко мне в траншею-щель, которых было полно в саду, свою сестру.

Я не пришел на это «свидание».

После он обозвал меня дураком и, прищелкивая языком, почмокивая, говорил, как «сладко ему было» с сестрой. Что-то он врал, наверное, а может, и нет...

А потом, когда все открылось для взрослых, – свалил все на меня.

Но ему, к счастью, не поверила его бабушка. Мои мама и

бабушка просто не говорили со мной об этом никогда. И у меня с плеч как гора свалилась.

Тогда мне было девять лет.

С нашей горы открывался вид на другие холмы-горы.

Внизу, на другом берегу Вэре, был зоопарк. Мы с бабушкой часто ходили туда, перебираясь по камням через ледяной мутный поток. Невдалеке от зоопарка, тоже на холме, стоял настоящий цирк – круглый, с колоннами...

Дальние холмы, всегда буро-рыжие от выгоревшей травы, становились выше и прозрачнее, а вдали были уже отчетливо видны горы – темно-синие, грозные, с потоками ледников.

В ясные утра над черно-синей цепью этих острых гор, высоко в небе, словно розовое облако, парил прозрачный Казбек...

Итак, холм-гора с университетским садом, каменисто-глинистый спуск, заросший дикой растительностью, глубоко внизу – бурная, гремющая камнями Вэре, бурые горы, прозрачный, как луна днем, Казбек, воздух, напоенный лавром и туей, запахи земли, неба...

Вечером зажигалась у нас керосиновая лампа. Стекло тогда было на вес золота. Если оно трескалось – все очень огорчались, заклеивали трещину узкой полоской бумаги и прикручивали фитиль, чтоб поменьше был язычок пламени.

При свете этой лампы я читал книги.

О капитане Куке, его открытиях.

«Принца и нищего».

«Тома Сойера».

«Хижину дяди Тома».

Мамина подруга дала мне почитать книгу о немецком пионере Губерте, приехавшем из нацистской Германии в СССР, в Москву, – «Губерт в стране чудес». Я читал, рассматривал фотографии Москвы; читал о московских набережных, метро...

И так хотелось мне обратно, в чистый и яркий снег детства, к хорошим пионерам, чистым мальчикам в пионерских галстуках и с барабанами, в сияющие лаком бежевые вагоны метро (а я ведь еще застал время, когда на станции метро «Комсомольская» продавали бутерброды с икрой), просто в нашу квартиру, к Асе, к солдатикам, кубикам...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.